

# АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

Сказка о Тройке

НИИЧАВО

Аркадий и Борис Стругацкие  
**Сказка о Тройке**

«Наследник Стругацких»

«Автор»

1987

## **Стругацкие А.**

Сказка о Тройке / А. Стругацкие — «Наследник Стругацких»,  
«Автор», 1987 — (НИИЧАВО)

«Сказка о Тройке» – повесть, в свое время последовательно отвергнутая всеми отечественными журналами и издательствами – за крайне неудобоваримую для советской эпохи блестящую социальную сатиру...

© Стругацкие А., 1987  
© Наследник Стругацких, 1987  
© Автор, 1987

## Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	5
ГЛАВА ВТОРАЯ	12
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	23
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Аркадий и Борис Стругацкие

## Сказка о тройке

*История непримиримой борьбы за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень, против обезлички, за здоровую критику и здоровую самокритику, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы сидели на травке в пыльном скверике под окнами заводского управления и переваривали обед – каждый по-своему. Федя читал «Китежградские новости», медленно ведя по строчкам черным неразгибающимся пальцем; мрачный Витька Корнеев лелеял обуревавшие его черные замыслы; Эдик Амперян спрашивал, Роман Ойра-Ойра отвечал; а я, не теряя драгоценного времени, загорал себе подмышки. Комаров и слепней поблизости не было, они тоже, вероятно, переваривали обед.

Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядовито-оранжевые сточные воды прохладная Китежа. На другом берегу сладко томились под солнцем заливные луга. По ровной желтой насыпи, выбрасывая белые дымки, полз игрушечный поезд. На горизонте в парном мареве синела зубчатая кромка далекого леса. Над серыми башнями Старой крепости, сверкая солнечными зайчиками, совершало эволюции небольшое летающее блюдце.

Окна заводского управления были раскрыты, и слышно было, как пишущие машинки вяло и неубедительно отвечают на энергичные напористые очереди бухгалтерских «рейнметаллов». Зажмурившись, можно было легко представить себя в районе боев местного значения. В полуподвале управления, подчиняясь сложному ритму, сдвоенно и тяжело грохали печатающие механизмы табуляторов. Пикирующими бомбардировщиками визжали и завывали на складе циркулярные пилы. По бомбардировщикам выпускали обойму за обоймой скорострельные пневматические молотки. В ремонтных мастерских, устрашающе лязгая гусеницами, разворачивались танки, а где-то в цехах дальнобойно ухал паровой молот. Кроме того, у ворот склада разгружали машину листового железа – звуки были сочные, военные, но я не мог подобрать для них удовлетворительную аналогию.

– А это что за развалина? – спрашивал Эдик.

– А это Старый Китежград, – отвечал Роман.

– Тот самый?

– Тот самый. Двенадцатый век.

– А почему только две башни? – спросил Эдик.

Роман объяснил ему, что до осады было четыре: Кикимора, Аукалка, Плюнь-Ядовитая и Уголовница. Годзилла прожег стену между Аукалкой и Уголовницей, ворвался во двор и вышел защитникам в тыл. Однако был он дубина, по слухам – самый здоровенный и самый глупый из четырехглавых драконов. В тактике он не разбирался и не хотел, а потому, вместо того чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу, благо голов как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотверженная, братья Разбойники сидели, Соловей Одихмантьевич и Лягва Одихмантьевич, с ними – Лихо Одноглазое, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в Плюнь-Ядовитую алчно ворвался Годзиллов при-

хвостень Вампир Беовульф, который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабежами. Однако это был первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей Одихмантьевич на пороге Аукалки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг, Лягва Одихмантьевич по малолетству отдал было первый этаж Кикиморы, но на втором закрепился, раскачал башню и обрушил ее вместе с собою на атаковавшую его голову в тот самый момент, когда хитрое и хладнокровное Лихо Одноглазое, заманившее правофланговую голову в селитряные подвалы Уголовницы, взорвало башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по крепости, давая своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и кончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Одихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, аукалки, кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он вскорости и подох от газовой гангрены.

– Любопытно, – проговорил Эдик, разглядывая из-под ладони заросшие серые глыбы Аукалки и Плюни-Ядовитой. – А вход туда свободный?

– Свободный, – ответил Роман. – За пятак.

– Жалко, – сказал Эдик. – Не успею я туда сходить.

Роман промолчал, а Витька Корнеев, отвлекшись от черных мыслей, посмотрел на Эдика с состраданием.

– А вот это блюдо? – спросил Эдик. – Это наше блюдо?

– Наверное, – сказал Роман. – Колонист какой-нибудь упражняется. Чтобы навыков не растерять.

– А где сама Колония?

– В городском парке, вон на том конце города.

– Сходим? – предложил Эдик.

– Успеется, – сказал Роман.

Эдик посмотрел на часы.

– Четыре часа уже, – сказал он озабоченно. – До приема остается всего час, но, может быть, успеем? А то пока разговоры, пока бумаги подпишут...

– Пока тебе подпишут здесь бумаги, шляпа ты фетровая, – сказал грубый Корнеев, – и пока кончатся все разговоры, ты здесь икупаешься, и назагораешься, и на лыжах находишься, и женишься, и разведешься (Эдик посмотрел на него с изумлением), от Колонии тебя будет тошнить, от этих дурацких развалин тебя будет рвать...

– Что это с ним? – спросил Эдик, обращаясь к Роману. Роман, не говоря ни слова, повалился на спину и задрал ногу на ногу. Тогда Эдик поглядел на меня. Глаза у него были такие чистые, такие наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в могуществе разума, такой свеженький из своего отдела Линеинного Счастья, еще пахнувший яблоками и детским смехом, такой избалованный – избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалованный рациональностью и справедливостью, избалованный горным воздухом чистого знания... Витька и Роман тоже были такими две недели назад.

– Эдик, – ласково сказал я. – Ты намерен, я вижу, сегодня же вечером вернуться в Институт?

– Да, – сказал Эдик. – А что?

– И времени у тебя нет, не так ли? Вся аппаратура готова, а завтра, прямо с утра, ты хочешь начать?

– Естественно...

– И тебе так не терпится начать, что ты просто не можешь позволить себе остаться здесь еще хотя бы на день, чтобы осмотреть Колонию?

– Д-да... Вообще-то, я бы с удовольствием, но... В чем дело?

– А внимательно осмотреть крепость? – спросил я.

– А поискать зубы Годзиллы, выбитые Соловьем Одихмантьевичем? – предложил Роман.

– И еще девочки, – сказал Витька с горечью. – Ух, какие девочки в Китежграде!

– Я не понимаю, ребята, – сказал Эдик. От обиды у него даже припухла нижняя губа. –

Не смешно.

– Ты еще не знаешь, до чего все это не смешно, – сказал Роман. – Тебе вот даже не пришло в голову спросить, почему мы сидим здесь так долго – Саша уже второй месяц, а мы с Витькой третью неделю. Уж не стал ли ты, чего доброго, эгоистом?

– Ну как – почему... У Саши дела на заводе...

– А мы с Витькой?

– Н-ну... ну, я не знаю... В конце концов, почему я должен был об этом думать?

– Эгоист! – сказал Роман, с грустью укрепляясь в этом ужасном предположении относительно Эдика. – Федя, полюбуйте, пожалуйста. Вот это – эгоист. Видите, как выглядит эгоист?

Федя вздрогнул, поглядел на Эдика поверх газеты, мучительно засмутился и, поскольку обе руки у него были заняты, в полном смятении задрал правую ногу, снял пенсне и принялся тереть линзы о штанину.

– По-моему... – пробормотал он. – Нет... Эгоист... Не может быть... Как же так...

– Спасибо, Федя, – сказал вежливый Эдик. – Это была шутка. – Он оглядел нас. – Вы хотите сказать, что здесь имеет место бюрократическая волокита, из-за которой я вынужден буду задержаться?

– Нет, – сказал я. – Нашей простой, многократно описанной и разоблаченной бюрократической волокитой здесь, к сожалению, и не пахнет.

– Волокита! – презрительно сказал Витька и сплюнул сквозь зубы на одуванчик. Одуванчик увял.

– Волокита... – мечтательно произнес Роман. – Волокита, Эдик, это, в сущности, прекрасно. Несешь, бывало, на подпись что-нибудь исходящее, а бухгалтер, шалун этакий, посылает тебя за визой к директору... Идешь к директору, а у директора, естественно, совещание, надобно подождать, садишься в кожаные кресла, пощечешь с референтом, полистаешь газету, а там, глядишь, и совещание закончилось, – возвращаешься к бухгалтеру, а бухгалтер, шалунишка, на обеде... Садишься в кожаные кресла, пощечешь со счетоводом...

– Золотые люди, – сказал Витька. – День-два, и все готово...

– А здесь? – спросил Эдик с интересом.

– А здесь, Эдик, – сказал я, – ничего этого и в заводе нет. Здесь у нас – ТПРУНЯ!

– Ну и что же? Я знаю.

– Ты знаешь, что такое ТПРУНЯ? – осведомился Роман.

– Знаю. Тройка По Распределению и Учету Необъяснимых Явлений.

Витька хрипло захохотал.

– Да, – сказал Роман, качая головой. – Распределение, значит, и Учет. И как же ты себе это представляешь?

Эдик пожал плечами.

– Я никак это себе не представляю. Зачем? Два месяца назад я подал заявку. Месяц назад меня любезно известили о том, что моя заявка зарегистрирована. Сегодня мне понадобился экспонат из Колонии необъясненных явлений, и я за ним прибыл. Вот и все.

– Шалунишки! – вскричал вдруг Панург. – Учетчики-бухгалтеры! А между прочим, матриархат имеет свои преимущества! В Центральном московском бассейне некий гражданин

повадились подныривать под купальщиц и хватать их за ноги. И вот одна из купальщиц, изловчившись, саданула его, нахального, ногой по голове. – Панург захохотал во все горло. – Она попала ему по челюсти, а сама вышла и отправилась одеваться. Проходит время, а нахального гражданина нет и нет. Вытащили его... – Панург снова захохотал. – Вытащили они его... – Панург еле говорил от смеха. – Вытащили, понимаете, они его, а он уже холодный! И челюсть сломана...

Все мы, кроме Эдика, тоже не могли удержаться от жуткого смеха, хотя я ощутил некий озноб, Роман побледнел лицом, а по шерстистому загривку Феди прошла волна. Витька же, отсмеявшись, сплюнул на анютины глазки и спросил Эдика:

– Понял?

– Не совсем, – сказал Эдик, рассматривая Панурга, утиравшего глаза шутовским колпаком.

– Не смешно тебе? – спросил Витька.

– Честно говоря, нет, – ответил Эдик.

– Ничего, привыкнешь, – пообещал Витька. – Время у тебя еще есть.

– Да, – сказал Роман. – Время у тебя теперь есть. Никогда в жизни не было у тебя так много времени. И я сейчас объясню тебе, почему. ТПРУНЯ, Эдик, это не Тройка По Распределению и Учету. ТПРУНЯ, Эдик, это Тройка По Рационализации и Утилизации.

– Ну и что же? – спросил Эдик.

– Он воображает, будто ТПРУНЯ – это что-то вроде кладовщика, – с сожалением сказал Роман, обращаясь ко мне и к Витьке. – Он воображает, будто стоит ему принести накладную, как он тут же получит все, что ему положено... Что есть ТПРУНЯ? – осведомился он, обращаясь в пространство.

Я немедленно откликнулся:

– ТПРУНЯ есть авторитетный административный орган, неукоснительно и неослабно выполняющий свои функции и никогда не подменяющий собою других административных органов.

– Понял? – сказал Витька Эдику. – Кладовщик – это кладовщик, а ТПРУНЯ – это ТПРУНЯ.

– Позвольте, – сказал Эдик, но Роман продолжал:

– Что есть Рационализация?

– Рационализация, – мрачно ответил Витька, – это такая поганая дрянь, когда необъясненное возвышается или низводится авторитетными болванами до уровня повседневщины.

– Однако позвольте... – сказал смущенный Эдик.

– А что есть Утилизация? – спросил Роман.

– Утилизация, – сказал я Эдику, – есть признание или же категорическое непризнание за рационализированным явлением права на существование в нашем брэнном реальном мире.

Эдик опять попытался что-то сказать, но Роман упредил его:

– Могут ли решения Тройки быть обжалованы?

– Да, могут, – сказал я. – Но результаты не воспоследуют.

– Как мордой об стол, – разъяснил Корнеев.

Эдик безмолвствовал. Выражение решительности и готовности к благородному протесту медленно сползало с его лица.

– Авторитетны ли для Тройки, – тоном провинциального адвоката спросил Роман, – рекомендации и пожелания заинтересованных лиц?

– Нет, не авторитетны, – сказал я. – Хотя и рассматриваются. В порядке поступления.

– Что есть заинтересованное... – начал Роман, но Эдик перебил его.

– Неужели Печать? – спросил он с ужасом.

– Да, – сказал Роман. – Увы.

– Большая?

– Очень большая, – сказал Роман.

– Ты такой еще не нюхивал, – добавил Витька.

– И круглая?

– Зверски круглая, – сказал Роман. – Никаких шансов.

– Но позвольте, – сказал Эдик, с видимым усилием стараясь подавить растерянность. – Если, скажем... скажем, оквадратить? Скажем... э-э... преобразование Киврина – Оппенгеймера?..

Роман покачал головой.

– Определитель Жемайтиса равен нулю.

– Ты хочешь сказать – близок к нулю?

Витька неприятно заржал.

– А то бы без тебя не догадались, – сказал он. – Равен, товарищ Амперян! Равен!

– Определитель Жемайтиса равен нулю, – повторил Роман. – Плотность административного поля в каждой доступной точке превышает число Одина, административная устойчивость абсолютна, так что все условия теоремы о легальном воздействии выполняются...

– И мы с тобой сидим в глубокой потенциальной галоше, – закончил Витька.

Эдик был раздавлен. Он еще шевелил лапками, поводил усами и топорщил надкрылья, но это были уже чисто рефлекторные действия. Некоторое время он открывал и закрывал рот, потом выхватил из воздуха роскошный блокнот с золотой надписью «Делегату городской профсоюзной конференции» и принялся бешено строчить в нем, ломая и нетерпеливо восстанавливая грифель, потом вновь растворил в воздухе канцелярские принадлежности и принялся без всякого аппетита покусывать себе пальцы, бессмысленно тараща глаза на мирный пейзаж за рекой. Все молчали. Роман лежал на спине, задрал ногу на ногу, и, казалось, спал. Витька, вновь погрузившись в океан черных замыслов, шумно сопел и оплевывал окружающую натуру ядовитой слюной. Не вынеся этого душераздирающего зрелища, я отвернулся и стал смотреть, как Федя читает.

Федя был существом мягким, добрым и деликатным, и он был очень упорен. Чтение давалось ему с огромным трудом. Любой из нас уже давно бы отказался от дела, требующего таких усилий, и признал бы себя бесталанным и негодным. Но Федя был существом другой породы. Он грыз гранит, не жалея ни зубов, ни гранита. Он медленно вел палец по очередной строчке, подолгу задерживаясь на буквах «щ» и «ъ», трудолюбиво побряхтывал, добросовестно шевелил большими серыми губами, длинными и гибкими, как у шимпанзе, а наткнувшись на точку с запятой, надолго замирал, собирал кожу на лбу в гармошку и судорожно подергивал далеко отставленными большими пальцами ног. Пока я смотрел на него, он добрался до слова «дезоксирибонуклеиновая», дважды попытался взять его с налету, не преуспел, применил слоговый метод, запутался, пересчитал буквы, затрепетал и робко посмотрел на меня. Пенсне косо и странно сидело на его широкой переносице.

– Дезоксирибонуклеиновая, – сказал я. – Это такая кислота. Дезоксирибонуклеиновая.

Он, жалко улыбаясь, поправил пенсне.

– Кислота, – повторил он перехваченным голосом. – А зачем она такая?

– Иначе ее никак не назовешь, – сочувственно сказал я. – Разве что сокращенно – ДНК...

Да вы это пропустите, Федя, читайте дальше.

– Да-да, – сказал он. – Я лучше пропущу... Саша, что такое детский сад?

– Детский сад? Детский сад... – Я подумал. – Детским садом называется организация, которая заботится о детях дошкольного возраста, пока родители заняты на производстве.

– Спасибо, Саша, – сказал Федя, и по его тону я понял, что он не удовлетворен.

– А что там написано? – спросил я.

– «У меня аптека, а не детский сад...» – по слогам прочитал Федя.

– Ясно, – сказал я. – Заведующий китежградской аптекой подвергается принципиальной критике за то, что препятствует выдвижению молодых кадров. Так?

– Кажется, так, – сказал Федя неуверенно. – Но я все равно не понимаю... Аптека – это магазин, где продают лекарства... Вы знаете, Саша, я стал понимать даже хуже, чем раньше. Он что хотел сказать, что не хочет продавать лекарства детям дошкольного возраста, пока их родители заняты на производстве? Тогда он прав, они же маленькие, не понимают... А молодые кадры – это просто молодые люди... Да, правильно, здесь есть такое слово. Кад-ры. Вот оно. Нет, не понимаю.

– Заведующий хотел сказать, – пояснил я, – что ему в аптеке нужны опытные работники, а не молодые люди, которых он фигурально сравнивает с детьми дошкольного возраста.

– А, – сказал Федя. – Тогда другое дело. Как же можно сравнивать? Тогда он не прав. Молодые люди – скажем, вы, Саша, – это одно, а маленькие дети – это совсем другое. Правильно его критикуют. Я, знаете ли, тоже не люблю, когда человек хочет сказать одно, а говорит совсем другое. Помните, когда Говорун назвал Спиридона старой дубиной? Зачем? Ведь Говорун хотел сказать, что Спиридон недостаточно понятлив, и хотя это тоже совершенно неправильно, потому что Спиридон, по-моему, самый понятливый из нас, что в общем неудивительно, если учесть, сколько ему лет, но совсем уж непонятно, почему нельзя было именно так и выразиться, не прибегая к уподоблению такому совершенно постороннему, решительно не имеющему к делу никакого отношения веществу, как дерево. Или я ошибаюсь? – Он с некоторой тревогой наклонился и заглянул мне в глаза.

Я открыл было рот, но тут представил себе, в какие дебри нам придется забираться, как трудно будет объяснить, что такое метафоры, иносказания, гиперболы и просто ругань, и зачем все это нужно, и какую роль здесь играют воспитание, привычки, степень развитости языка, эмоции, вкус к слову, начитанность и общий культурный уровень, чувство юмора, такт, и что такое юмор, и что такое такт, и представив себе все это, я ужаснулся и горячо сказал:

– Вы совершенно правы, Федя.

Он снова принялся читать, а я смотрел на него и думал, какой же чудовищной мощью должна обладать Большая Круглая Печать, если одного прикосновения ее к бумаге оказалось достаточно для того, чтобы навеки закабалить этого свободолюбивого снежного человека, этого доброго и деликатного владыку неприступных вершин и превратить его в вульгарный экспонат, в наглядное пособие для популярных лекций по основам дарвинизма. Потом я услышал осторожное кваканье и обернулся. Кузька был, конечно, тут как тут. Он сидел на крыше заводского управления и робко поглядывал в нашу сторону. Я помахал ему и поманил его пальцем. Он, как всегда, страшно смутился и попятился. Я призывно похлопал ладонью по траве возле себя. Кузька смутился окончательно и спрятался за вытяжную трубу. Я пригорюнился и, подперев подбородок ладонью, стал смотреть на груды бракованных волшебных палочек, сваленных у забора среди прочего металлолома.

Из столовой вышла компания молоденьких работниц. Завидев Федю, они принялись поправлять платочки и взбивать прически, размахивать ресницами, перешихикиваться и совершать прочие обыкновенные для их возраста действия. Федя дернулся, чтобы удрать, но сдержался и, потупившись, стал щипать рыжую шерсть у себя на левом предплечье. Девушки это сейчас же заметили и затянули частушку матримониального содержания. Федя жалобно улыбался. Девушки стали его окликать и приглашать вечером на танцы. Федя вспотел. Когда компания прошла, он судорожно перевел дыхание и сразу перестал улыбаться.

– Вы, Федя, пользуетесь успехом, – сказал я не без некоторой зависти.

– Да, это очень меня мучает, – произнес Федя. – Вы меня не поймете. У вас тут совсем иные порядки. А ведь у нас в горах матриархат... Я не привык... Это совершенно невыносимо, когда на тебя обращает внимание столько девушек сразу. У нас такое положение грозило бы многими бедами... Впрочем, у нас это невозможно.

– Ну, у нас это тоже бывает только в исключительных случаях, – возразил я. – И потом они больше шутили, чем что-нибудь серьезное.

Витька вдруг рявкнул:

– Хватать и тикать. Плевал я на них на всех. Подумаешь, Печать... В первый раз, что ли...

– Главное в нашем положении, – сказал Роман, не открывая глаз, – это спокойствие. Выдержка и ледяное хладнокровие. Надо искать пути.

– Главное в нашем положении – вовремя рвануть когти, – возразил Корнеев. – Унося что-нибудь в клюве при этом, – добавил он.

– Нет-нет, – встрепенулся Эдик. – Нет! Главное в нашем положении – не совершать поступков, которых мы потом будем стыдиться.

Я посмотрел на часы.

– Главное в нашем положении – не опоздать к началу заседания. Лавр Федотович очень не одобряет опозданий.

Мы встали. Федя из вежливости тоже встал. Когда мы выходили из скверика, я обернулся. Федя уже снова читал. А Кузька сидел рядом с ним и пробовал на зуб шапочку с бубенцами, которую часто оставлял после себя Панург.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Ровно в пять часов мы перешагнули порог комнаты заседаний. Как всегда, кроме коменданта Колонии, никого еще не было. Комендант сидел за своим столиком, держал перед собой раскрытое дело и аж подсигивал от нетерпеливого возбуждения. Глаза у него были как у античной статуи, а губы непрерывно двигались, словно он повторял в уме горячую защитительную речь. Нас он не заметил, и мы тихонько расселись на стульях вдоль стены под табличкой «Представители». Роман сразу же принялся орудовать пилочкой для ногтей. Витька засунул руки в карманы и выставил ноги на середину комнаты. Эдик, усевшись в изящной позе, осторожно озирался. Он скользнул равнодушным взглядом по демонстрационному столу прямо перед входом, по маленькому столику с табличкой «Научный консультант», с некоторым беспокойством задержал взгляд на огромном, под зеленой суконной скатертью столе для Тройки и, все более беспокоясь, принялся изучать увлеченного коменданта, полускрытого горой канцелярских папок. Вид чудовищного коричневого сейфа, мрачно возвышавшегося в углу позади коменданта, поверг его в первую панику, а когда он поднял глаза и обнаружил на стене необъятный кумачовый лозунг «Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации», лицо его так переменялось, что я понял: Эдик готов.

Именно в этот момент, вероятно, комендант вдруг ощутил, что в комнате присутствует нечто, не прошедшее должной проверки и оной подлежащее. Он встрепенулся, повел большим носом и обнаружил Эдика.

– Посторонний! – произнес он со странным выражением.

Эдик встал и поклонился. Комендант, не спуская с него напряженного взора, вылез из-за стола, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Эдик пожал эту руку и представился: «Амперян». Затем он отступил и поклонился снова. Потрясенный комендант несколько мгновений стоял в прежней позе, а затем поднес ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Затем он с беспокойством, как бы ища оброненное, оглядел пол у своих ног.

– Здорово, Зубо, – сказал грубый Корнеев. – Эдик, это Зубо. Дай ему документы, а то его сейчас кондрат хватит.

Витька был недалек от истины. Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал лихорадочно озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение. Комендант ожил. Действия его стали осмысленными. Он пожрал глазами сначала фотографию на документе, а на закуску глазами же пожрал самого Эдика. Явное сходство фотографии с оригиналом привело его в восторг.

– Очень рад! – воскликнул он. – Зубо моя фамилия. Комендант я. Представитель, так сказать, городской администрации. Устраивайтесь, товарищ Амперян, располагайтесь, нам с вами еще работать и работать...

Он вдруг замолчал и рысью кинулся на свое место. И вовремя. В приемной послышались шаги, голоса, кашель, дверь распахнулась, движимая властной рукой, и в комнате появилась Тройка в полном составе – все четверо – плюс научный консультант профессор Выбегалло. Лавр Федотович Вунюков, ни на кого не глядя, проследовал на председательское место, сел, водрузил перед собой огромный портфель, с лязгом распахнул его и принялся выкладывать на зеленое сукно предметы, необходимые для успешного председательствования: номенклатурный бювар крокодиловой кожи, набор шариковых авторучек в сафьяновом чехле, коробку «Герцеговины Флор», зажигалку в виде триумфальной арки и призматический театральный бинокль.

Отставной полковник мотокавалерийских войск, брякнув медалями, устроился справа от Лавра Федотовича, высоко задрал седые брови и, придав таким образом своему лицу выражение бесконечного изумления и неодобрения, мирно заснул.

Рудольф же Архипович Хлебовводов, еще более пожелтевший и усохший за минувшие три часа, сел ошую Лавра Федотовича и принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно при этом бегая воспаленными, с желтизной глазами по углам комнаты.

Фарфуркис по обыкновению не сел за стол. Он демократически устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую записную книжку в дряхлом переплете и сразу же сделал в ней пометку.

Никто из членов Тройки не обратил на нас, по-видимому, никакого внимания. А научный консультант профессор Выбегалло обратил. Он равнодушно оглядел нас, сдвинул брови, поднял на мгновение глаза к потолку, как бы пытаясь припомнить, где это он нас видел, не то припомнил, не то не припомнил, уселся за свой столик и принялся деятельно готовиться к исполнению своих ответственных обязанностей. Перед ним появился первый том «Малой Советской Энциклопедии», затем второй том, затем третий, четвертый...

– Грррм, – произнес Лавр Федотович и обвёл присутствие взглядом, проникающим сквозь стены и видящим насквозь. Все были готовы: полковник спал, Хлебовводов нашептывал, Фарфуркис сделал вторую пометку, комендант, похожий на школьника перед началом опроса, судорожно листал страницы дела, а Выбегалло положил перед собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то мы значения не имели. Я посмотрел на Эдика и поспешно отвернулся. Эдик был близок к полной деморализации – появление Выбегаллы его доконало.

– Вечернее заседание Тройки объявляю открытым, – сказал Лавр Федотович. – Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал было высоким голосом: «Машкин Эдельвейс Захарович...», но его тут же перебил бдительный Фарфуркис.

– Протестую! – крикнул он, обращаясь к Лавру Федотовичу. – Где порядковый номер дела? Почему не поименованы пункты?

Лавр Федотович повернул голову и некоторое время рассматривал коменданта.

– Правильное обобщение, верное, – произнес он наконец. – Поименуйте, товарищ Зубо.

Комендант с бумажным шорохом облизнул сухим языком сухие губы и начал снова, но теперь уже голосом низким и как бы севшим:

– Дело номер сорок второе. Фамилия: Машкин. Имя: Эдельвейс. Отчество: Захарович...

– С каких это пор он Машкиным заделался? – брюзгливо спросил Хлебовводов. – Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. Я с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в Комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любил... И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард Петрович Бабкин...

Лавр Федотович медленно обратил к нему каменное лицо.

– Бабкин? – произнес он. – Не помню... Продолжайте, товарищ Зубо.

– Отчество: Захарович, – дергая щекой, повторил комендант. – Год и место рождения: тысяча девятьсот первый, город Смоленск. Национальность...

– Э-дуль-вейс или Э-доль-вейс? – спросил Фарфуркис.

– Э-дель-вейс, – сказал комендант.

– Дивизия СС «Эдельвейс», – прошамкал сквозь дрему полковник.

– Национальность: белорус. Образование: неполное среднее общее, неполное среднее техническое. Знание иностранных языков: русский – свободно, украинский и белорусский – со словарем. Место работы...

Хлебовводов вдруг звонко шлепнул себя по лбу.

– Да нет же! – закричал он. – Он же помер!

– Кто помер? – деревянным голосом спросил Лавр Федотович.

– Да Бабкин этот! Я же как сейчас помню – в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году помер он от инфаркта. Был он тогда финдиректором Всероссийского общества испытателей природы, пришел, значит, в свой кабинет, сел и помер. Так что тут какая-то путаница.

Лавр Федотович взял бинокль и некоторое время изучал коменданта, потерявшего дар речи.

– Факт смерти у вас отражен? – осведомился он.

– Христом богом... – пролепетал комендант. – Какой смерти?.. Да почему же смерти?.. Да живой он, в приемной дожидается...

– Одну минуточку, – вмешался Фарфуркис. – Вы разрешите, Лавр Федотович? Товарищ Зубо, кто дожидается в приемной? Только точно. Фамилия, имя, отчество.

– Бабкин! – с отчаянием сказал комендант. – То есть, что я говорю? Не Бабкин – Машкин! Машкин дожидается. Эдельвейс Захарович.

– Понимаю, – сказал Фарфуркис. – А где Бабкин?

– Бабкин помер, – сказал Хлебовводов авторитетно. – Это я вам точно могу сказать. В одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом. Правда, у него сын был. Пашка, по-моему. Павел, значит, Эдуардович. Я его недавно встречал. Заведует он сейчас магазином текстильного лоскута в Голицыне, что под Москвой. Толковый работяга, но кажется, не Павел все-таки, не Пашка, нет...

Я налил стакан воды и передал коменданту. В наступившей тишине было слышно, как комендант гулко глотает. Лавр Федотович размял и продул папиросу.

– Никто не забыт и ничто не забыто, – произнес он. – Это хорошо. Товарищ Фарфуркис, я попрошу вас занести в протокол, в констатирующую часть, что Тройка считает полезным принять меры к отысканию сына Бабкина Эдуарда Петровича на предмет выяснения его имени. Народу не нужны безымянные герои. У нас их нет.

Фарфуркис закивал и принялся быстро строчить в записной книжке.

– Вы напились, товарищ Зубо? – осведомился Лавр Федотович, разглядывая коменданта в бинокль. – Тогда продолжайте докладывать.

– Место работы и профессия в настоящее время: пенсионер-изобретатель, – нетвердым голосом прочел комендант. – Был ли за границей: не был. Краткая сущность необъясненности: эвристическая машина, то есть электронно-механическое устройство для решения инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближайшие родственники: сирота, братьев и сестер нет.

– Позвольте, – сказал Фарфуркис. – А отец, а мать?

– Сирота, – проникновенно пояснил комендант.

– И всегда был сирота? Смешно. Я протестую.

– Он в приюте воспитывался, – сказал комендант.

– Откуда это следует?

– Ну, он мне рассказывал.

– Прошу занести в протокол, – торжественно сказал Фарфуркис. – Комендант оперирует недокументированными данными.

– Адрес постоянного местожительства: Новосибирск, улица Щукинская, 23, квартира 88. Все.

– Все? – переспросил Лавр Федотович.

– Все ли? – саркастически осведомился Фарфуркис.

– Все! – решительно сказал комендант и утерся рукавом.

– Какие будут предложения? – спросил Лавр Федотович, приспустив тяжелые веки.

– Па-а машинам! – взревел вдруг полковник, не просыпаясь. – Пики перед себя! Заво-о-ди! Рысью... арш-арш!

Всем нам это очень понравилось, и даже бледный до синевы Эдик немного ожил. Однако, кроме нас, на полковника никто больше внимания не обратил.

– Я бы предложил впустить, – сказал Хлебовводов. – Я почему предлагаю? А вдруг это Пашка?

– Других предложений нет? – спросил Лавр Федотович. Он пошарил по столу, ища кнопку, не нашел и сказал коменданту: – Пусть дело войдет, товарищ Зубо.

Комендант опрометью кинулся к двери, высунулся и тотчас вернулся, пятясь, на свое место. Следом за ним, перекосившись набок под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый старичок в толстовке и в военных галифе с оранжевым кантом. По дороге к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоинством поклониться, но футляр, обладавший, по-видимому, чудовищной инерцией, неумолимо нес его вперед, и, может быть, не обошлось бы без жертв, если бы мы с Романом не подхватили старичка в полуметре от затрепетавшего уже Фарфуркиса. Я сразу узнал этого старичка – он неоднократно бывал в нашем институте, и во многих других институтах он тоже бывал, а однажды я видел его в приемной заместителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым в очереди, терпеливый, чистенький, пылающий энтузиазмом. Старичок он был неплохой, безвредный, но, к сожалению, не мыслил себя вне научно-технического творчества.

Я забрал у него тяжеленный футляр и водрузил изобретение на демонстрационный стол. Освобожденный наконец старичок поклонился и сказал дребезжащим голосом:

– Мое почтение. Машкин Эдельвейс Захарович, изобретатель.

– Не он, – сказал Хлебовводов вполголоса. – Не он и не похож. Надо полагать, совсем другой Бабкин. Однофамилец, надо полагать.

– Да-да, – согласился старичок, улыбаясь. – Принес вот на суд общественности. Профессор вот товарищ Выбегалло, дай ему бог здоровья, порекомендовал. Готов продемонстрировать, ежели на то будет ваше желание, а то засиделся я у вас в Колонии неприлично...

Внимательно разглядывавший его Лавр Федотович отложил бинокль и медленно наклонил голову. Старичок засуетился. Он снял с футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная пишущая машинка, извлек из кармана моток провода, воткнул один конец куда-то в недра машинки, затем огляделся в поисках розетки и, обнаружив, размотал провод и воткнул вилку.

– Вот, извольте видеть, так называемая эвристическая машина, – сказал старичок. – Точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а именно – на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточно средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня пока не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу таким образом к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так что, ежели угодно, прошу.

Он встал за машинку и шикарным жестом перекинул тумблер. В недрах машинки загорелась неоновая лампочка.

– Прошу вас, – повторил старичок.

– А что это там у вас за лампа? – подозрительно спросил Фарфуркис.

Старичок ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки листок бумаги и рысцой поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух:

– «Вопрос: что у нея... гм... у нея внутри за лпч?» Лэпэчэ... Кэпэдэ, наверное? Что еще за лэпэчэ?

– Лампочка, значит, – сказал старичок, хихикая и потирая руки. – Кодлируем поменьку. – Он вырвал у Фарфуркиса листок и побежал обратно к своей машинке. – Это, значит, был вопрос, – произнес он, загоняя листок под валик. – А сейчас посмотрим, что она ответит...

Члены Тройки с интересом следили за его действиями. Профессор Выбегалло благодушно-отечески сиял, изысканными и плавными движениями пальцев выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в спокойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между тем старичок бодро постукал по клавишам и снова выдернул листок.

– Вот, извольте, ответ.

Фарфуркис прочитал:

– «У мене внутре... гм... не... неонка». Гм. Что это такое – неонка?

– Айн секунд! – воскликнул изобретатель, выхватил листок и вновь побежал к машинке.

Дело пошло. Машина дала безграмотное объяснение, что такое неонка, затем она ответила Фарфуркису, что пишет «внутре» согласно правил грамматики, а затем...

Ф а р ф у р к и с: Какой такой грамматики?

М а ш и н а: А нашей русской грмтк.

Х л е б о в в о д о в: Известен ли вам Бабкин Эдуард Петрович?

М а ш и н а: Никак нет.

Л а в р Ф е д о т о в и ч: Грррм... Какие будут предложения?

М а ш и н а: Признать мене за научный факт.

Старик бегал и печатал с невероятной быстротой. Комендант восторженно подпрыгивал на стуле и показывал мне большой палец. Витька, развалившись, гыгыкал, как в цирке.

Х л е б о в в о д о в (*раздраженно*): Я так работать не могу. Чего он взад-вперед мотается, как жесь на ветру?

М а ш и н а: Ввиду стремления.

Х л е б о в в о д о в: Да уберите вы от меня ваш листок! Я вас ни про чего не спрашиваю, можете вы это понять?

М а ш и н а: Так точно, могу.

До Тройки наконец дошло, что, если они хотят кончить когда-нибудь сегодняшнее заседание, им надлежит воздержаться от вопросов, в том числе и от риторических. Наступила тишина. Старичок, который основательно умаялся, присел на краешек кресла и, часто дыша полукрытым ртом, вытирался платочком. Выбегалло горделиво озирался.

– Есть предложение, – тщательно подбирая слова, сказал Фарфуркис. – Пусть научный консультант произведет экспертизу и доложит нам свое мнение.

Лавр Федотович поглядел на Выбегаллу и величественно наклонил голову. Выбегалло встал. Выбегалло любезно осклабился. Выбегалло прижал правую руку к сердцу. Выбегалло заговорил.

– Эта... – сказал он. – Неудобно, Лавр Федотович, может получиться. Как-никак, а же суизан рекомедатель сет нобль вё.<sup>1</sup> Пойдут разговоры... эта... кумовство, мол, протексион... А между тем случай очевидный, достоинства налицо, рационализация... эта... осуществлена в ходе эксперимента... Не хотелось бы подставлять под удар доброе начинание, гасить инициативу народа. Лучше будет что? Лучше будет, если экспертизу произведет лицо незаинтересованное... эта... постороннее. Вот тут среди представителей наблюдается товарищ Привалов Александр Иванович... (Я вздрогнул.) Компетентный товарищ по электронным машинам. И незаинтересованный. Пусть он. Я так полагаю, что это будет ценно.

Лавр Федотович взял бинокль и начал поочередно нас рассматривать. Я был в смятении. Витька гыгыкал уже совершенно неприлично. Роман толкал меня локтем, а Эдик умоляюще шептал: «Саша, надо! Дай им! Такой случай!»

– Есть предложение, – сказал Фарфуркис, – просить товарища представителя оказать содействие работе Тройки.

---

<sup>1</sup> Я – рекомедатель этого благородного старика («французский диалект» Выбегаллы СМ. ПРИМ. Т.3. Стр. 501. – Прим. ред.).

Лавр Федотович отложил бинокль и дал согласие. Теперь все смотрели на меня. Я бы, конечно, ни за что не стал впутываться в эту историю, если бы не старичок. Сет нобль всё хлопал на меня красными веками столь жалостно, и весь вид его являл такое очевидное обещание век за меня бога молить, что я не выдержал. Я неохотно встал и приблизился к машине. Старичок радостно мне улыбался. Витька елозил ногами от восторга. Я осмотрел агрегат и сказал:

– Ну хорошо... Имеет место пишущая машинка «ремингтон» выпуска тысяча девятьсот шестого года в сравнительно хорошем состоянии. Шрифт дореволюционный, тоже в хорошем состоянии. – Я поймал умоляющий взгляд старикашки, вздохнул и пощелкал тумблером. – Короче говоря, ничего нового данная печатающая конструкция, к сожалению, не содержит. Содержит только очень старое...

– Внутри! – прошелестел старичок. – Внутри смотрите, где у нее анализатор и думатель...

– Анализатор... – сказал я. – Нет здесь анализатора. Серийный выпрямитель – есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкновенная. Тумблер. Хороший тумблер, новый. Та-ак... Еще имеет место шнур. Очень хороший шнур, совсем новый... Вот, пожалуй, и все.

– А вывод? – живо осведомился Фарфуркис.

Эдик ободряюще мне кивал, а Витька с Романом одновременно показали мне, как надлежит делать хук справа в челюсть. Я дал им понять, что постараюсь.

– Вывод, – сказал я. – Описанная машинка «ремингтон» в соединении с выпрямителем, неоновой лампочкой, тумблером и шнуром не содержит ничего необъясненного.

– А я? – вскричал старичок.

Роман с Витькой показали мне хук слева, но этого я не мог.

– Нет, конечно... – промямлил я. – Прделана большая работа... (Эдик схватился за виски.) Я, конечно, понимаю... добрые намерения... (Роман смотрел на меня с презрением.) Ну, в самом деле, – сказал я, – человек старался... нельзя же так... («Кретин, – отчетливо произнес Витька, – Годзилла...») Нет... Ну что ж... Ну пусть человек работает, раз ему интересно... Я только говорю, что необъясненного ничего нет... А вообще-то даже остроумно...

– Какие будут вопросы к врию научного консультанта? – осведомился Лавр Федотович.

Уловив вопросительную интонацию, старичок взвился и рванулся было к своей машине, но я удержал его, обхватив за талию.

– Да-да, – сказал Фарфуркис. – Придержите его, а то тяжело работать, в самом деле. Все-таки у нас здесь не вечер вопросов и ответов.

– Правильно! – подхватил Хлебовводов, а старикашка все бился и рвался у меня из рук, так что я ощущал себя жандармом на задании. – И вообще, выключите ее пока, нечего ей подслушивать.

Высвободив одну руку, я щелкнул тумблером, лампочка погасла, и старичок сейчас же затих.

– А вот все-таки у меня есть вопрос, – продолжал Хлебовводов. – Как же это она все-таки отвечает?

Я обалдело воззрился на него. Роман и Витька мрачно веселились. Эдик пришел в себя и теперь, жестко прищурившись, разглядывал Тройку. Выбегалло был доволен. Он извлек из бороды длинную щепку и вонзил ее между зубами.

– Выпрямители там, тумбы разные, – говорил Хлебовводов, – это нам товарищ врию все довольно хорошо объяснил. Одного он нам не объяснил: фактов он нам не объяснил. А имеется непреложный факт, что когда задаешь ей вопрос, то получаешь тут же ответ. В письменном виде. И даже когда не ей, а кому другому задаешь вопрос, все равно обратно же получаешь ответ. А вы говорите, товарищ врию, ничего необъясненного нет. Не сходятся у вас концы с концами. Непонятно нам, что же говорит по данному поводу наука.

Наука в моем лице потеряла дар речи. Хлебовводов меня сразил, зарезал он меня, убил и в землю закопал. Зато Выбегалло отреагировал немедленно.

– Эта... – сказал он. – Так ведь я и говорю, ценное же начинание! Элемент необъясненности имеется, порыв снизу... Почему я и рекомендовал. Эта... – сказал он старику. – Объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.

Старичок словно взорвался.

– Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! – провозгласил он. – Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутри, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечаия...

У меня потемнело в глазах. Рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый нобль всё же говорил и говорил, и речь его была гладкой и плавной, – это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесенная речь, в которой каждый эпитет, каждая интонация были преисполнены эмоционального содержания, это было настоящее произведение искусства, и, как всякое настоящее произведение искусства, речь эта облагораживала слушателя, делала его мудрым и значительным, преображала и поднимала его на несколько ступенек выше. Старик был никаким не изобретателем – он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из последователей Демосфена, Цицерона, Иоанна Златоуста. Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене...

...Они внимательно слушали. Слушал седой полковник, пристально глядя из-под ключковатых бровей, и в полусумраке торжественно и грозно блестело золотое шитье его мундира, и тускло отсвечивали тяжелые гроздья орденов. Слушал Лавр Федотович, опустив на руки мощный череп, ссутулив широкие плечи, обтянутые черным бархатом мантии. Хлебовводов слушал, подавшись вперед, весь собранный в хищном напряжении, стиснув узорные подлокотники большими белыми руками, прижав грудь к краю стола массивную платиновую цепь. А Фарфуркис слушал задумчиво, откинувшись на спинку кресла, уставив неподвижный взгляд в низкий сводчатый потолок.

Изобретатель уже давно замолчал, но все оставались неподвижны, словно продолжали вслушиваться в глубокую средневековую тишину, мягким бархатом повисшую под скользкими сводами. Потом Лавр Федотович поднял голову и встал.

– По закону и по всем правилам я должен был бы говорить последним, – начал он. – Но бывают случаи, когда законы и правила оборачиваются против своих адептов, и тогда приходится отбрасывать их. Я начинаю говорить первым, потому что мы имеем дело как раз с таким случаем. Я начинаю говорить первым, потому что не могу ждать и молчать. Я начинаю говорить первым, потому что не ожидаю и не потерплю никаких возражений...

Теперь слушал изобретатель, – неподвижный, как изваяние, рядом со своим Големом, рядом со своим чудовищным железным Оракулом, во чреве которого медленно возгорались и гасли угрюмые огни.

– Мы – гардианы науки, – продолжал Лавр Федотович, – мы – ворота в ее храм, мы – беспристрастные фильтры, оберегающие от фальши, от легкомыслия, от заблуждений. Мы охраняем посевы знаний от плевел невежества и ложной мудрости. И пока мы делаем это, мы не люди, мы не знаем снисхождения, жалости, лицепрятя. Для нас существует только одно мерило: истина. Истина отдельна от добра и зла, истина отдельна от человека и человечества, но только до тех пор, пока существуют добро и зло, пока существуют человек и человечество. Нет человечества – к чему истина? Никто не ищет знаний, значит – нет человечества, и к чему истина? Есть ответы на все вопросы, значит – не надо искать знаний, значит – нет человечества, и к чему же тогда истина? Когда поэт сказал: «И на ответы нет вопросов», – он описал самое страшное состояние человеческого общества – конечное его состояние... Да, этот человек, стоящий перед нами, – гений. В нем воплощено и через него выражено конечное состояние человечества. Но он убийца, ибо он убивает дух. Более того, он страшный убийца, ибо он убивает дух всего человечества. И потому нам больше не можно оставаться беспристрастными фильтрами, а должно нам вспомнить, что мы – люди, и как людям нам должно защищаться

от убийцы. И не обсуждать должно нам, а судить! Но нет законов для такого суда, и потому должно нам не судить, а беспощадно карать, как карают охваченные ужасом. И я, старший здесь, нарушая законы и правила, первый говорю: смерть!

– Смерть человеку и распыление машине, – хрипло сказал полковник.

– Смерть – человеку... – медленно и как бы с сожалением проговорил Хлебовводов. – Распыление – машине... и забвение всему этому казусу. – Он прикрыл глаза рукой.

Фарфуркис выпрямился в кресле, глаза его были зажмурены, толстые губы дрожали. Он открыл рот и поднял сжатый кулачок, но вдруг помотал головой и капризно произнес:

– Ну, товарищи... ну куда это мы с вами заехали, в самом деле? Нельзя же так...

– Грррм, – произнес Лавр Федотович, ворочая шеей.

Хлебовводов, смутно видимый в сгустившихся сумерках, сунулся носом в большой клетчатый платок и проговорил невнятно:

– Свет зажечь, что ли, пора? Засиделись мы нынче.

Комендант сейчас же сорвался с места и включил свет. Все зажмурились, а мотокавалерийский полковник всхрапнул и проснулся.

– Как? – произнес он дребезжащим голосом. – Уже? Я за то, чтобы это продвинуть... продвинуть. Мотокавалерия все решает. Пики... шашки... клиренс подходящий... Засекается на левую заднюю, но это устранимо... устранимо... Так что мое мнение – продвинуть.

– Грррм, – сказал Лавр Федотович и уставился мертвым взглядом в «ремингтон». – Выражая общее мнение, постановляю: данное дело номер сорок второе считать рационализированным. Переходя к вопросу об утилизации, предлагаю товарищу Зубо огласить заявку.

Комендант принялся торопливо листать дело, а тем временем профессор Выбегалло выбрался из-за своего стола, с чувством пожал руку сначала старикашке, а затем, прежде чем я успел увернуться, и мне тоже. Он сиял. Я не знал, куда деваться. Я не смел оглянуться на ребят. Пока я тупо размышлял, не запустить ли мне «ремингтоном» в Лавра Федотовича, меня схватил старикашка. Он, как клещ, вцепился мне в шею и троекратно поцеловал, оцарапав щетиной. Не помню, как я добрался до своего стула. Помню только, что Витька сказал мне: «Дубина прекраснодушная». Роман вытер мне нос платком, а Эдик шепнул: «Эх, Саша! Ну ничего, с кем не бывает...»

Между тем комендант перелистал все дело и жалобным голосом сообщил, что на данное дело заявок не поступало. Фарфуркис тотчас заявил протест и процитировал статью инструкции, из которой следовало, что рационализация без утилизации есть нонсенс и может быть признана действительной лишь условно. Хлебовводов начал орать, что эти штучки не пройдут, что он деньги даром получать не желает и что он не позволит коменданту отправить коту под хвост четыре часа рабочего времени. Лавр Федотович с видом одобрения продул папиросу, и Хлебовводов взыграл еще пуще.

– А вдруг это родственник моему Бабкину? – вопил он. – Как это так – нет заявок? Должны быть заявки! Вы только поглядите, старичок какой! Фигура какая самобытная, интересная! Как это мы будем такими старичками бросаться?

– Народ не позволит нам бросаться старичками, – заметил Лавр Федотович. – И народ будет прав.

– Вот именно! – рявкнул вдруг Выбегалло. – Именно народ! И именно... эта... не позволит, значить! Как же это нет заявок, товарищ Зубо? На Черный Ящик у вас заявочка есть? Есть! Как же вы говорите, что нет?

Я обомлел.

– Погодите! – сказал я, но меня никто не слушал.

– Так это же не Черный Ящик! – кричал комендант, истово прижимая к груди руки. – Черный Ящик совсем по другому номеру проходит!

– Как это так не черный? – кричал в ответ Выбегалло, размахивая обшарпанным черным футляром от «ремингтона». – Какой же он, по-вашему, ящик-то? Зеленый, может быть? Или белый? Дезинформацией занимаетесь, народными старичками бросаетесь?

Комендант жалобно выкрикивал, что это, конечно, тоже черный ящик, не зеленый и не белый, явно черный, но не тот ящик-то, тот черный ящик проходит по делу под номером девяносто седьмым, и на него заявка имеется, вот товарища Привалова Александра Ивановича заявка, а этот черный ящик – и не ящик вовсе, а эвристическая машина, и проходит она по делу под номером сорок вторым, и заявки на нее нет. Выбегалло орал, что нечего тут... эта... жонглировать цифрами и бросаться старичками, что черное есть черное, оно не белое и не зеленое, и нечего тут, значить, махизьм разводить и всякий эмпириокритицизм, а пусть вот товарищи члены авторитетной Тройки сами посмотрят и скажут, черный это ящик или, скажем, зеленый. Проснувшийся от шума полковник выкатил глаза и отдал приказ взять повод, переменить потники и врубить третью скорость. Витька оглушительно свистел в два пальца, Роман с Эдиком кричали: «Долой!» – а я, как испорченный граммофон, только твердил: «Мой Черный Ящик – это не ящик... Мой Черный Ящик – это не ящик...»

Наконец до Лавра Федотовича дошло ощущение некоторого непорядка.

– Грррм! – сказал он, и все стихло. – Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните.

Хлебовводов твердым шагом подошел к Выбегалле, взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его.

– Товарищ Зубо, – сказал он. – На что ты имеешь заявку?

– На Черный Ящик, – уныло сказал комендант. – Дело номер девяносто седьмое.

– Я тебя не спрашиваю, какое номер дело, – возразил Хлебовводов. – Я тебя сейчас спрашиваю, ты на черный ящик заявку имеешь?

– Имею, – признался комендант.

– Чья заявка?

– Товарища Привалова из НИИЧАВО. Вот он сидит.

– Да, – страстно сказал я, – но мой Черный Ящик – это не ящик... точнее – не совсем ящик...

Однако Хлебовводов внимания на меня не обратил. Он посмотрел футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произнес:

– Ты что же бюрократию разводите? Ты что же, не видите, какого оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели, вот товарищ представитель от науки на твоих глазах сидит, ждет, понимаете, выполнения заявки, ужинать давно пора, на дворе темно, а ты что же – номерами здесь жонглируете?

Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска, что будущее мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым и совершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только продолжал жалко бубнить, что мой ящик – это не совсем ящик, а точнее, совсем не ящик. Мне хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. Комендант тоже бубнил что-то убедительное, но Хлебовводов, погрозив ему кулаком, уже возвращался на свое место.

– Ящик, Лавр Федотович, черный, – с торжеством доложил он. – Ошибки никакой быть не может, сам смотрел. И заявка имеется, и представитель присутствует.

– Это не тот ящик! – хором проныли мы с комендантом, но Лавр Федотович, тщательно изучив нас в бинокль, обнаружил, по-видимому, в обоих какие-то несообразности и, сославшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной утилизации. Возражений не последовало, все ответственные лица кивали, даже спящий полковник.

– Заявку! – воззвал Лавр Федотович.

Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно.

– Резолюция!!

На заявку пала резолюция.

– ПЕЧАТЬ!!!

С лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнуло затхлой канцелярией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью Большая Круглая Печать. И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне умерло.

– Не надо! – просипел я. – Помогите!

Лавр Федотович взял Печать обеими руками и занес над заявкой. Собравшись с силами, я вскочил на ноги.

– Это не тот ящик! – завопил я в полный голос. – Да что же это... Ребята!

– Одну минуту, – сказал Эдик. – Остановитесь, пожалуйста, и выслушайте меня.

Лавр Федотович задержал неумолимое движение и обратил свой мертвенный взгляд на Эдика.

– Посторонний? – осведомился он.

– Никак нет, – тяжело дыша, сказал комендант. – Представитель.

– Тогда можно не удалять, – произнес Лавр Федотович и возобновил было процесс приложения Большой Круглой Печати, но тут оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало Печати приложиться. Лавр Федотович сначала просто давил на нее, потом встал и навалился всем телом, но приложения все-таки не происходило – между бумагой и печатью оставался зазор, и величина его слабо зависела от усилий товарища Вунюкова. Можно было подумать, что зазор этот заполнен каким-то невидимым, но чрезвычайно упругим веществом, препятствующим приложению. Лавр Федотович, видимо, осознал тщету своих стараний, сел, положил руки на подлокотники и строго, хотя и без всякого удивления, посмотрел на Печать. Печать неподвижно висела сантиметрах в двадцати над моей заявкой.

Казнь откладывалась, и я снова начал воспринимать окружающее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной мудрости присутствующих. Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием, а Хлебовводов при этом ерзал и поглядывал на часы. Роман и Витька застыли в каких-то нелепых и даже жутких позах, – я даже подумал сначала, что их, обоих разом, разбил радикулит: оба они были потные, над Витькой столбом поднимался пар, а более слабый в коленках Роман тихонько постанывал и кряхтел от напряжения. Они держали Печать, милые друзья мои! Спасали меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову... Надо было что-то делать. Надо было что-то немедленно предпринимать.

– В-седьмых, наконец, – рассудительно говорил Эдик, – любому специалисту, а тем более такой авторитетной организации, должно быть ясно, товарищи, что так называемый Черный Ящик есть не более чем термин теории информации, ничего общего не имеющий ни с определенным цветом, ни с определенной формой какого бы то ни было реального предмета. Менее всего Черным Ящиком можно называть данную пишущую машинку «ремингтон» вкуче с простейшими электрическими приспособлениями, которые можно приобрести в любом электротехническом магазине, и мне кажется странным, что профессор Выбегалло навязывает авторитетной организации изобретение, которое изобретением не является, и решение, которое может лишь подорвать ее авторитет...

– Я протестую, – сказал Фарфуркис. – Во-первых, товарищ представитель нарушил здесь все правила ведения заседания, взял слово, которое ему никто не давал, и вдобавок еще превысил регламент. Это раз. (Я с ужасом увидел, что Печать колыхнулась и упала на несколько сантиметров.) Далее, мы не можем позволить товарищу представителю порочить наших лучших людей, очернять заслуженного профессора и официального научного консультанта товарища Выбегаллу и обелять имеющий здесь место и уже заслуживший одобрение Тройки черный ящик. Это два. (Печать провалилась еще на несколько сантиметров. У Витьки громко, на всю комнату, хрустнули позвонки.) Наконец, товарищ представитель, надо бы вам знать, что

Тройку не интересуют никакие изобретения. Объектом работы Тройки является необъясненное явление, в качестве какового в данном случае и выступает уже рассмотренный и рационализированный черный ящик, он же эвристическая машина.

– Это же до ночи можно просидеть, – обиженно добавил Хлебовводов, – ежели каждому представителю слово давать.

Печать вновь осела. Зазор был теперь не более десяти сантиметров.

– Это не тот черный ящик, – сказал я и проиграл два сантиметра. – Мне не нужен этот ящик! (Еще сантиметр.) Я протестую! На кой мне черт эта старая песочница с «ремингтоном»? Я жаловаться буду!

– Это ваше право, – великодушно сказал Фарфуркис и выиграл еще сантиметр.

Эдик снова заговорил. Он взывал к теням Ломоносова и Эйнштейна, он цитировал передовицы центральных газет, он воспевал науку и наших мудрых организаторов, но все было вотще. Лавра Федотовича это затруднение наконец утомило, и, прервавши оратора, он произнес только одно слово:

– Неубедительно.

Раздался тяжелый удар. Большая Круглая Печать впилась в мою заявку.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы покинули комнату заседаний последними. Мы были подавлены. Роман кряхтел и растирал натруженную поясницу. Витька, черный от злобы и усталости, шипел сквозь зубы: «Слюнтяи, мармеладчики, культуртрегеры, маменькины сыночки... Хватать и тикать, а не турысы разводите!..» Эдик вел меня под локоть. Он тоже был расстроен, но держался спокойно. Вокруг нас, увлекаемый инерцией своего агрегата, вился старикашка Эдельвейс. Он нашептывал мне слова вечной любви, обещал ноги мыть и воду пить и требовал подъемных и суточных. Эдик дал ему три рубля и велел зайти послезавтра. Эдельвейс выпросил еще полтинник за вредность и исчез. Тогда мне стало полегче, и я обнаружил, что Витька и Роман тоже исчезли.

– Где Роман? – спросил я слабым голосом.

– Отправился ухаживать, – ответил Эдик.

– Господи, – сказал я. – За кем?

– За дочкой некоего товарища Голого.

– Понятно, – сказал я. – А Витька?

Эдик пожал плечами.

– Не знаю, – сказал он. – По-моему, Витя намерен сделать большую глупость.

– Он хочет их убить? – спросил я с восхищением.

Эдик разуверил меня, и мы вышли на улицу. Федя уже ждал нас. Он поднялся со скамейки, и мы втроем, рука об руку, пошли вдоль улицы Первого Мая.

– Устали? – спросил Федя.

– Ужасно, – сказал Эдик. – Я и говорить устал, и слушать устал, и вдобавок еще, кажется, сильно поглупел. Вы не замечаете, Федя, как я поглупел?

– Нет еще, – сказал Федя застенчиво. – Это обычно становится заметно через час-другой.

Я сказал:

– Хочу есть. Хочу забыться. Пойдемте все в кафе и забудемся. Закатим пир. Вина выпьем.

Мороженого...

Эдик был «за», Федя тоже не возражал, хотя никогда не пил вина и не понимал мороженого. Народу на улицах было много, но никто не слонялся по тротуару, как это обычно бывает в городах летними вечерами. Китежградцы, напротив, тихо, культурно сидели на своих крылечках и молча трещали семечками. Семечки были арбузные, подсолнечные, тыквенные и дынные, а крылечки были резные с узорами, резные с фигурами, резные с балясинами и просто из гладких досок – знаменитые китежградские крылечки, среди которых попадались и музейные экземпляры многовековой давности, взятые под охрану государством и обезображенные тяжелыми чугунными досками, об этом свидетельствующими. На задах крякала гармонь – кто-то, что называется, пробовал лады.

Эдик с интересом расспрашивал Федю о жизни в горах, Федя, с самого начала проникший к вежливому Эдику большой симпатией, отвечал охотно.

– Хуже всего, – рассказывал Федя, – это альпинисты с гитарами. Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших родных, тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное заранее время, вдруг над самым ухом кто-то зазвенит, застучит и примется рычать про то, как «нипупок» вскарабкался по «жандарму» и «запил по гребню» и как потом «ланцепупа пробило на землю»... Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые даже умирают...

– У меня дома клавесин есть, – продолжал он мечтательно. – Стоит у меня там на вершине клавесин, на леднике. Я люблю играть на нем в лунные ночи, когда тихо и совершенно нет ветра. Тогда меня слышат собаки в долине и начинают мне подвывать. Право, Эдик, у меня

слезы навертываются на глаза, так это получается хорошо и печально. Луна, звуки в просторе несутся, и далеко-далеко воют собаки...

– А как к этому относятся ваши товарищи? – спросил Эдик.

– Их в это время никого нет. Остается обычно один мальчик, но он мне не мешает. Он хроменький... Впрочем, это вам не интересно.

– Наоборот, очень интересно.

– Нет-нет... Но вы, наверное, хотели бы узнать, откуда у меня клавишин. Представьте себе: его занесли альпинисты. Они ставили какой-то рекорд и обязались втащить на нашу гору клавишин. У нас на вершине много неожиданных предметов. Задумает, например, альпинист подняться к нам на мотоцикле – и вот у нас мотоцикл, хотя и поврежденный, конечно... Гитары попадают, велосипеды, бюсты различные, зенитные пушки... Один рекордсмен захотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если бы вы видели, как он мучился с этим катком! Как трудился! Но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. Метров пятьдесят всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток...

Мы подошли к дверям кафе, и Федя замолчал. На ярко освещенных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной близости от турникета отирался Клоп Говорун. Он жаждал войти, но швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве и, как всегда, находясь в возбужденном состоянии, выпускал сильный, неприятный для непьющего Федора запах дорогого коньяка «курвуазье». Я наскоро познакомил его с Эдиком, посадил в спичечный коробок и велел сидеть тихо, и он сидел тихо, но, как только мы прошли в зал и отыскивали свободный столик, он сразу же развалился на стуле и принялся стучать по столу, требуя официанта. Сам он, естественно, в кафе ничего не ел и не пил, но жаждал справедливости и полного соответствия между работой бригады официантов и тем высоким званием, за которое эта бригада борется. Кроме того, он явно выпендривался перед Эдиком – он уже знал, что Эдик прибыл в Китежград лично за ним, Говоруном, в качестве его, Говоруна, работодателя.

Мы с Эдиком заказали себе яичницу по-домашнему, салат из раков и сухое вино. Федю в кафе хорошо знали и принесли ему сырого тертого картофеля, морковную ботву и капустные кочерыжки, а перед Говоруном поставили фаршированные помидоры, которые он заказал из принципа.

Съевши салат, я ощутил, что устал, как последняя собака, что язык у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме того, я поминутно вздрагивал, ибо в шуме публики мне то и дело слышались визгливые вскрики: «Ноги мыть и воду пить!..» и «У ей внутри!..» Зато прекрасно выспавшийся за день Говорун чувствовал себя бодрым, как никогда, и с наслаждением демонстрировал Эдику свой философический склад ума, независимость суждений и склонность к обобщениям.

– До чего бессмысленные и неприятные существа! – говорил он, озирая зал с видом превосходства. – Воистину только такие грузные жвачные животные способны под воздействием комплекса неполноценности выдумать миф о том, что они – цари природы. Спрашивается: откуда явился этот миф? Например, мы, насекомые, считаем себя царями природы по справедливости. Мы многочисленны, вездесущи, мы обильно размножаемся, а многие из нас не тратят драгоценного времени на бессмысленные заботы о потомстве. Мы обладаем органами чувств, о которых вы, хордовые, даже понятия не имеете. Мы умеем погружаться в анабиоз на целые столетия без всякого вреда для себя. Наиболее интеллигентные представители нашего класса прославлены как крупнейшие математики, архитекторы, социологи. Мы открыли идеальное устройство общества, мы овладели гигантскими территориями, мы проникаем всюду, куда захотим. Поставим вопрос следующим образом: что вы, люди, самые, между прочим, высокоразвитые из млекопитающих, можете такого, чего бы хотели уметь и не умели бы мы? Вы много хвастаетесь, что умеете изготавливать орудия труда и пользоваться ими. Простите, но это смешно. Вы уподобляетесь калеке, который хвастает своими костылями. Вы строите

себе жилища, мучительно, с трудом, привлекая для этого такие противоестественные силы, как огонь и пар, строите тысячи лет, и все время по-разному, и все никак не можете найти удобной и рациональной формы жилища. А жалкие муравьи, которых я искренне презираю за грубость и приверженность к культуре физической силы, решили эту простенькую проблему сто миллионов лет тому назад, причем решили раз и навсегда. Вы хвастаете, что все время развиваетесь и что вашему развитию нет предела. Нам остается только хохотать. Вы ищете то, что давным-давно найдено, запатентовано и используется с незапамятных времен, а именно: разумное устройство общества и смысл существования. Вы называете нас, цимекс лектулария, паразитами и толкуете друг другу, что это дурно. Но будем последовательны! Что есть паразит? Это слово происходит от греческого «параситос», что означает «нахлебник», «блюдолиз». Даже ваша наука называет паразитирующим тот вид, который существует на другом виде и за счет другого вида. Что ж, я с гордостью утверждаю: да, я паразит! Я питаюсь жизненными соками существ иного вида, так называемых людей. Но как обстоят дела с этими так называемыми людьми? Разве могли бы они заниматься своей сомнительной деятельностью или даже просто существовать, если бы по несколько раз в день не вводили бы в свой организм живые соки не одного, а множества иных видов как животного, так и растительного царства? Глупцы и лицемеры бросают нам обвинение, что мы-де подкрадываемся к своей так называемой жертве, пользуясь темнотой и ее, жертвы, сонным и, следовательно, беспомощным состоянием. На эти ханжеские бредни я отвечаю просто: может быть, МЫ убиваем свою жертву, прежде чем ввести ее соки в свой организм? Может быть, МЫ изобретаем все более и более утонченные способы такого убийства? Может быть, МЫ разработали и практикуем изуверские способы уродования своих жертв путем так называемого искусственного отбора для удобства их пожирания? Нет, не мы! Мы, даже самые дикие и нецивилизованные из нас, лишь позволяем себе урвать крошечную толику от щедрот, коими наделила вас природа. Однако вы идете еще дальше. Вас можно назвать СВЕРХПАРАЗИТАМИ, ибо никакой другой вид не додумался еще паразитировать на самом себе. Ваше начальство паразитирует на подчиненных, ваши преступники паразитируют на так называемых порядочных людях, ваши дураки паразитируют на ваших мудрецах. И это – цари природы!

Эдик слушал профессионально-внимательно, а Панург вдруг громко расхохотался и воскликнул, гремя бубенцами:

– Вот это отповедь, черт меня подери со всеми потрохами, включая аппендикс и двенадцатиперстную кишку! Осмелюсь добавить только, что Ода Нобунага был знаменитым воякой и тираном жестокости беспредельной, уродлив, как мартышка, и не терпел лжи. Всех, кто поступал не в соответствии, он рубил в капусту на месте сам или отдавал на шинкование некоему Тоетоми Хидэёси, который тоже хорошо понимал в этом деле. «Правда ли, говорят, что я похож на обезьяну?» – спросил однажды Ода Нобунага своего приближенного, до которого давно добирался. Блюдолиз помертвел и опачкался, и Ода Нобунага уже взялся за рукоятку меча, но тут обреченный блюдолиз, движимый отчаянием, нашелся. «Да что вы, ваше превосходительство! – вскричал он. – Как можно! Наоборот, это обезьяна имеет несравненную честь походить на вас!» Что и привело свирепого диктатора в самое превосходное состояние духа.

– Я не понял этого намека, – с достоинством объявил Говорун, однако по лицу его скользнула тень многовекового застарелого ужаса перед зловещим призраком чудовищного указательного пальца, неумолимо надвигающегося с непреложностью рока.

– Я, конечно, слабый диалектик, – произнес Федя, покусывая кочерыжку великолепными зубами, – но меня воспитали в представлении о том, что человеческий разум – это высшее творение природы. Мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться перед нею, и теперь, когда я некоторым образом получил образование, я не устаю восхищаться той смелостью и тем хитроумием, с которым человек уже создал и продолжает создавать так называемую вторую природу. Человеческий разум – это... это... – Он помотал головой и замолк.

– Вторая природа! – ядовито сказал Клоп. – Третья стихия, четвертое царство, пятое состояние, шестое чудо света... Один крупный человеческий деятель мог бы спросить: зачем вам две природы? Загадили одну и теперь пытаетесь заменить ее другой... Я же вам уже сказал, Федор: вторая природа – это костыли калеки. Что же касается разума... Не вам бы говорить, не мне бы слушать. Сто веков эти бурдюки с питательной смесью разглагольствуют о разуме и до сих пор не могут договориться, о чем идет речь. В одном только они согласны все: кроме них, разумом никто не обладает. Если мысленным взором окинуть всю историю этой болтовни, легко увидеть, что так называемая теория мышления сводится к выдумыванию более или менее сложных терминов для обозначения явлений, которых человек не понимает. Так появляются РАЗДРАЖИМОСТЬ, ОЩУЩЕНИЕ, ИНСТИНКТЫ, РЕФЛЕКСЫ УСЛОВНЫЕ, РЕФЛЕКСЫ БЕЗУСЛОВНЫЕ, ПЕРВАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА... Теперь они обнаружили еще ТРЕТЬЮ, ту самую, между прочим, которой мы, клопы, пользуемся с незапамятных времен. И ведь что замечательно! Если существо маленькое, если его легко отравить какой-нибудь химической гадостью или просто раздавить пальцем, то с ним не церемонятся. У такого существа, конечно же, инстинкт, примитивная раздражимость, низшая форма нервной деятельности... Типичное мировоззрение самовлюбленных имбецилов. Но ведь они же разумные, им же нужно все обосновать, чтобы насекомое можно было раздавить без зазрения совести! И посмотрите, Федор, как они это обосновывают. Скажем, земляная оса отложила в норку яички и таскает для будущего потомства пищу. Что делают эти бандиты? Они варварски крадут отложенные яйца, а потом, исполненные идиотского удовлетворения, наблюдают, как несчастная мать закупоривает цементом пустую норку. Вот, мол, оса – дура, не ведает, что творит, а потому у нее – инстинкты, слепые инстинкты, вы понимаете? – разума у нее нет, и в случае нужды допускается ее – к ногтю. Ощущаете, какая гнусная подтасовка терминов? Априорно предполагается, что целью жизни осы является размножение и охрана потомства, а раз даже с этой, главной своей задачей она не способна толково управиться, то что же тогда с нее взять? У них, у людей, – космос-мосмос, фотосинтез-мотосинтез, а у жалкой осы – сплошное размножение, да и то на уровне примитивного инстинкта. Этим млекопитающим и в голову не приходит, что у осы богатейший духовный мир, что за свою недолгую жизнь она должна преуспеть – ей хочется преуспеть! – и в науках, и в искусствах, этим теплокровным и неведомых, что у нее просто ни времени, ни желания нет оглядываться на своих детенышей, тем более что это и не детеныши даже, а бессмысленные яички... Ну, конечно, у ос существуют правила, нормы поведения, мораль. Поскольку осы от природы весьма легкомысленны в делах продления рода, закон, естественно, предусматривает известное наказание за неполное выполнение родительских обязанностей. Каждая порядочная оса должна выполнить определенную последовательность действий: выкопать норку, отложить яички, натаскать парализованных гусениц и закупорить норку. За этим следят, существует негласный контроль, оса всегда учитывает возможность присутствия за ближайшим камешком инспектора-соглядатая. Конечно же, оса видит, что яички у нее украли или что исчезли запасы питания! Но она не может отложить яички вторично, и она совсем не намерена тратить время на возобновление пищевых запасов. Полностью сознавая всю нелепость своих действий, она делает вид, что ничего не заметила, и доводит программу до конца, потому что менее всего ей улыбается таскаться по десяти инстанциям Комитета охраны вида... Представьте себе, Федор, шоссе, прекрасную гладкую магистраль от горизонта до горизонта. Некий экспериментатор ставит поперек дороги рогатку с табличкой «Объезд». Шофер догадывается, что это чьи-то глупые шутки, но, следуя правилам и нормам поведения порядочного автомобилиста, он сворачивает на обочину, трясется по кочкам, захлебывается в грязи и в пыли, тратит массу времени и нервов, чтобы снова выехать на то же шоссе двумястами метрами дальше. Почему? Да все по той же причине: он законопослушен, он не хочет таскаться по инстанциям ОРУДа, тем более что у него, как и у всякой осы, есть основания предполагать, что все это – ловушка и что

вон в тех кустах сидит инспектор ГАИ с мотоциклом. А теперь представим себе, что неведомый экспериментатор ставил этот опыт, дабы установить уровень человеческого интеллекта, и что этот экспериментатор – такой же самовлюбленный осел, как разрушитель осинового гнезда... Ха-ха-ха! К каким бы выводам он пришел!.. – Говорун в восторге застучал по столу всеми лапами.

– Нет, – сказал Федя. – Как-то у вас все упрощенно получается, Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блеснуть интеллектом...

– Точно так же, – перебил хитроумный Клоп, – как не блещет интеллектом оса, откладывающая яйца. Тут, знаете ли, не до интеллекта.

– Подождите, Говорун, – сказал Федя. – Вы все время меня сбиваете. Я хочу сказать... Ну вот, я и забыл, что хотел сказать... Да! Чтобы насладиться величиим человеческого разума, надо окинуть взором все здание этого разума, все достижения наук, все достижения литературы и искусства. Вот вы пренебрежительно отозвались о космосе, а ведь спутники, ракеты – это великий шаг, это восхищает, и согласитесь, что ни одно членистоногое не способно к таким свершениям.

Клоп презрительно повел усами.

– Я мог бы возразить, что космос членистоногим ни к чему, – произнес он. – Однако и людям он тоже ни к чему, и поэтому об этом говорить не будем. Вы не понимаете простых вещей, Федор. У каждого вида существует своя исторически сложившаяся, передающаяся из поколения в поколение мечта. Осуществление такой мечты и называют обычно великим свершением. У людей было две исконных мечты: мечта летать вообще, проистекшая из зависти к насекомым, и мечта слетать к Солнцу, проистекшая из невежества, ибо они полагали, что до Солнца рукой подать. Но нельзя ожидать, что у разных видов, а тем более классов и типов живых существ Великая мечта должна быть одна и та же. Смешно предполагать, чтобы у мух из поколения в поколение передавалась мечта о свободном полете, у спрутов – мечта о морских глубинах, а у нас – цимекс лектулария – о Солнце, которого мы терпеть не можем. Каждый мечтает о том, что недостижимо, но обещает удовольствие. Потомственная мечта спрутов, как известно, – свободное путешествие по суше, и спруты в своих мокрых пучинах много и полезно думают на этот счет. Извечной и зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство, и, как ни ужасны методы, коими они в настоящее время пользуются, им нельзя отказать в настойчивости, изобретательности и способности к самопожертвованию во имя великой цели. А грандиозная мечта паукообразных? Много миллионов лет назад они опрометчиво выбрались из моря на сушу и с тех пор мучительно мечтают снова вернуться в родную стихию. Вы бы послушали их песни и баллады о море! Сердце разрывается на части от жалости и сочувствия. В сравнении с этими балладами героический миф о Дедале и Икаре – просто забавная побасенка. И что же? Кое-чего они достигли, причем весьма хитроумным путем, ибо членистоногим вообще свойственны хитроумные решения. Они добиваются своего, создавая новые виды. Сначала они создали водобегающих пауков, потом пауков-водолазов, а теперь во весь ход идут работы над созданием вододышащего паука... Я уже не говорю о нас, клопах. Мы своего достигли давно, когда появились на свет эти бурдюки с питательной смесью... Вы понимаете меня, Федор? Каждому племени своя мечта. Не надо хвастаться достижениями перед своими соседями по планете. Вы рискуете попасть в смешное положение. Вас сочтут глупцами те, кому ваши мечты чужды, и вас сочтут жалкими болтунами те, кто свою мечту осуществил уже давно.

– Я не могу вам ответить, Говорун, – сказал Федя, – но должен признаться, что мне неприятно вас слушать. Во-первых, я не люблю, когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи, а во-вторых, я все-таки тоже человек.

– Вы – снежный человек. Вы – недостающее звено. С вас взятки гладки. Вы даже, если хотите знать, несъедобны. А вот почему мне не возражают гомо сапиенсы, так сказать? Почему

они не вступаются за честь своего вида, своего класса, своего типа? Объясняю: потому что им нечего возразить.

Внимательный Эдик пропустил этот вызов мимо ушей. Мне было что возразить, но я промолчал, потому что видел, что Федя расстроен и хочет говорить.

– Нет уж, позвольте мне, – сказал он. – Да, я снежный человек. Да, нас принято оскорблять, нас оскорбляют даже люди, ближайšie наши родственники, наша надежда, символ нашей веры в будущее. Нет-нет, позвольте, Эдик, я скажу все, что думаю... Нас оскорбляют наиболее невежественные и отсталые слои человеческого рода, давая нам гнусную кличку «йети», которая, как известно, созвучна со свифтовским «йеху», и кличку «голуб-яван», которая означает не то «огромная обезьяна», не то «отвратительный снежный человек». Нас оскорбляют и самые передовые представители человечества, называя нас «недостающим звеном», «человекообезьяной» и другими научно звучащими, но порочащими нас прозвищами. Может быть, мы действительно достойны некоторого пренебрежения. Мы медленно соображаем, мы слишком уж неприхотливы, в нас так слабо стремление к лучшему, разум наш еще дремлет. Но я верю, я знаю, что это ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ разум, находящий наивысшее наслаждение в переделывании природы, сначала окружающей, а в перспективе – и своей собственной. Вы, Говорун, все-таки паразит. Простите меня, но я использую этот термин в научном смысле. Я не хочу вас обидеть, но вы паразит, и вы не понимаете, какое это высокое наслаждение – природа ведь бесконечна, и переделывать ее можно бесконечно долго. Вот почему человека называют царем природы. Потому, что он не только изучает природу, не только находит высокое, но пассивное наслаждение от единения с нею – он переделывает природу, он лепит ее по своей нужде, по своему желанию, а потом будет лепить по своей прихоти...

– Ну да! – сказал Клоп. – А покуда он, человек, обнимает некоего Федора за широкие волосатые плечи, выводит его на эстраду и предлагает некоему Федору изобразить процесс очеловечивания обезьяны перед толпой лужающих семечки обывателей... Внимание! – заорал он вдруг. – Сегодня в клубе лекция кандидата наук Вялобуева-Франкенштейна «Дарвинизм против религии» с наглядной демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны! Акт первый: «Обезьяна». Федор сидит у лектора под столом и талантливо ищется под мышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами. Акт второй: «Человекообезьяна». Федор, держа в руках палку от метлы, бродит по эстраде, ища, что бы забить. Акт третий: «Обезьяночеловек». Федор под наблюдением и руководством пожарника разводит на железном противне небольшой костер, разыгрывая при этом ужас и восторг одновременно. Акт четвертый: «Человека создал труд». Федор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного кузнеца. Акт пятый: «Апофеоз». Федор садится за пианино и наигрывает «Турецкий марш»... Начало лекции в шесть часов, после лекции новый заграничный фильм «На последнем берегу» и танцы!

Чрезвычайно польщенный Федя застенчиво улыбнулся.

– Ну конечно, Говорун, – сказал он растроганно. – Я же знал, что существенных разногласий между нами нет. Конечно же, именно таким вот образом, понемножку, полегоньку разум начинает творить свои благодетельные чудеса, обещая в перспективе Архимедов, Ньютонов и Эйнштейнов. Только вы напрасно так уж преувеличиваете мою роль в этом культурном мероприятии, хотя я понимаю: вы просто хотите сделать мне приятное.

Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я хихикнул. Федя забеспокоился.

– Я что-нибудь не так сказал? – спросил он.

– Вы молодец, – сказал я. – Вы его так отбрили, что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия...

– Одно удовольствие вас слушать! – вскричал Панург. – Уши наливаются весенними соками и расцветают подобно розам. Цицероны! Клавдии-Публии-Аврелии! Что же касается великих ораторов, то Цицерон-младший, походивший на отца, по свидетельству Монтеня,

только тем, что носил то же имя, в бытность свою римским градоначальником Бухары заметил однажды у себя на пиру некоего Цестия, затесавшегося среди вельмож. Трижды спрашивал Цицерон-младший у своего слуги имя этого незнакомого ему и незваного гостя и трижды, отвлекаемый хозяйскими обязанностями, забывал сообщаемое имя. Наконец слуга, утомившись повторять одно и то же и желая утвердить в памяти господина имя Цестия, сказал: «Это Цестий, который, по слухам, считает свое красноречие значительно превосходящим красноречие вашего батюшки». И что же? Цицерон-младший взбесился и велел тут же на месте высечь Цестия, очень этому удивившегося...

– Должен вам сказать, Говорун, я слушаю вас с интересом, – сказал Эдик. – Я, конечно, вовсе не намерен вам возражать, потому что, как я рассчитываю, у нас впереди еще много диспутов по более серьезным вопросам. Я только хотел бы констатировать, что, к сожалению, в ваших рассуждениях слишком много человеческого и слишком мало оригинального, присутствующего лишь психологии цимекс лектулария.

– Хорошо, хорошо! – с раздражением вскричал Клоп. – Все это прекрасно. Но, может быть, хоть один представитель гомо сапиенс снизойдет до прямого ответа на те соображения, которые мне позволено было здесь высказать? Или, повторяю, ему нечего возразить? Или, может быть, человек разумный имеет к разуму не большее отношение, чем очковая змея к широко распространенному оптическому устройству? Или у него нет аргументов, доступных пониманию существа, которое обладает лишь примитивными инстинктами?

У меня был аргумент, доступный пониманию, и я его с удовольствием предьявил. Я продемонстрировал Говоруну свой указательный палец, а затем сделал движение, словно бы стирая со стола упавшую каплю.

– Очень остроумно, – сказал Клоп, бледнея. – Вот уж воистину ответ на уровне высшего разума.

Федя робко попросил, чтобы ему объяснили смысл этой пантомимы, однако Говорун объявил, что все это вздор.

– Мне здесь надоело, – преувеличенно громко сообщил он, барски озираясь. – Пойдемте отсюда.

Я расплатился, и мы вышли на улицу, где остановились, решая, что делать дальше. Федя предложил навестить Спиридона, но Говорун запротестовал. Беседовать с теплокровными – это совсем не сахар, объявил он, но уж идти после этого пререкаться с головоногим моллюском – нет, от этого увольте, он уж лучше пойдет в кино. Нам стало его жалко – так он был потрясен и шокирован моим жестом, может быть, действительно несколько бестактным, – и мы направились было в кино, но тут из-за пивного ларька на нас вынесло старикашку Эдельвейса. В одной руке он сжимал пивную кружку, а другой цеплялся за свой агрегат. Заплетающимся языком он выразил свою преданность науке и лично мне и потребовал сметных, высокогорных, а также покупательных на приобретение каких-то разъемов. Я дал ему рубль, и он вновь устремился за ларек.

Мы пошли в кино. Говорун все никак не мог успокоиться. Он бахвалился, задирал прохожих, сверкал афоризмами и парадоксами, но видно было, что ему крайне не по себе. Чтобы вернуть Клопу душевное равновесие, Эдик рассказал ему о том, какой гигантский вклад он, Клоп Говорун, может совершить в теорию Линейного Счастья, и прозрачно намекнул на мировую славу и на неизбежность длительных командировок за границу, в том числе и в экзотические страны. Душевное равновесие было восстановлено полностью. Говорун явно приободрился, посолиднел и, как только в кинозале погас свет, тут же полез по рядам кусаться, так что мы с Эдиком не получили от фильма никакого удовольствия: Эдик боялся, что Говоруна тихо раздавят по привычке, я же ждал безобразного скандала.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Витька этой ночью в гостинице не ночевал. Роман же пришел, по-видимому, очень поздно, и утром нам с Эдиком пришлось изгонять его из постели холодной водой. Мы наскоро позавтракали кефиром и огурцами. Я очень спешил, мне не терпелось увидеться с комендантом и прояснить свое теперешнее положение. Комендант мне благоволил: время от времени я помогал ему разбираться в путаных заключениях профессора Выбегаллы и вообще ему сочувствовал. Да и как было не сочувствовать? Жил-был человек, ничего такого не делал, никому особенно не мешал, работал комендантом общежития, достиг успехов, и вдруг вызвал его товарищ Голый, поругал за приверженность к религии и бросил на повышение – комендантом Колонии Необъясненных Явлений. Будь он помоложе да поначитанней, он, возможно, и развернулся бы там, но товарищ Зубо был не таков. Был он служака, и был он к тому же человеком повышенной брезгливости. «Погибаю я там, – жаловался он мне иногда. – Погибаю я там, Александр Иванович, со змеями этими бородатými, вонючими, с этими каракатицами, с пришельцами. Аппетит потерял я совсем, хую, жена брюки ушивает, и никакой же перспективы... Сегодня вот еще один паразит прилетел, лепечет чего-то не по-русски, каши не жрет, мяса не жрет, а употребляет он, оказывается, зубную пасту... Не могу я так больше. Жаловаться я хочу, не по закону это, до самого товарища Голого дойду...» Очень я ему сочувствовал.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.